

## МАЛЕНЬКАЯ И МЕЛКИЙ БЕС

... и она подняла руку — взять стакан, а рука дрожала, и Лида дрожала, не в силах унять дрожь, смотрела в стакан, понимая: смерть в этом стакане, но мечтая о ней, о смерти, и уж не желая жизни, доставшей её по самое горло, жизни душившей, давившей — с тех пор, как явился этот вертлявый ветеринар, мелкий, щуплый, весь горящий бесовским светом глумливый фигляр, любивший животных, сюсюкавший с детьми, но по горло налитой мраком, злобой и какой-то донною слизью, взлелеянной в самых тёмных резервуарах ада; ненависть клокотала в нём! он был худ, невзрачен и мал, имел плоское лицо и полные адского огня глаза; его боялись, но лидские девки хотели его, как человек хочет бездны — стоя на кромке, предвкушать бездну, мечтать о бездне, вожадельть её, а потом — набрать воздуха в лёгкие, закрыть глаза и, сделав роковой шаг, рухнуть в ужас небытия! о, это дар! гибельный восторг от предчувствия предсмертного наслаждения; Стах Рымарь жил в Лиде и пользовал зверей сызмальства, учась у отца, который с восьмидесятых обретался в Варшаве, а в девяносто втором вышел с ветеринарного факультета Университета естественных наук; больше всего любил Стах холостить барашков, это в счастье было ему — холостить: распнёт барашка на граните стола — чик скальпелем! и нету мальчика, только неопределённое нечто вываливается из *ветеринарки*, впрочем, и лечил, и умел лечить, предлагая нет-нет оставить животное у себя в загоне, на время, — был у него загончик под крышей из соломы — оставит козу там, к примеру, ради полечить, а народец умишком пораскинет да кляузы измыслит: спит, стало быть, с козой, похоть свою с животным утоляет, — срамили, но — за глаза, потому что боялись его и нуждались в нём, но потом съездил Рымарь в Хрустальную и привёз оттуда жену, Лиду, тут все и позатыкались - Лида явилась в Лиде; баба была королевишна и статью свою так выделялась на лидском фоне, что в родословной её не было нужды, — красавица, и формы её сводили с ума местных мужиков, — на голову выше Рымаря, с высокой грудью и могучими бёдрами, а ноги... ноги! необычайной лепки ноги, изящные икры и точёные лодыжки... не было в Лиде бабы краше, все проигрывали в сравнении с ней: брови вразлёт, вздорный носик и бездонные очи! пахла заморским мандарином, ванилью и гвоздичным маслом; Рымарь знал обхождение, и она падала в его бездну, как в смерть, — безоглядно, бездумно, бесстыдно; Лида была мельничиха, муж её, мельник,

имел мельницу в Хрустальной и звал жену *Маленькая*, иронизируя по поводу её фигуры, она же настолько могучая была, что своей женской силой способствовала мужикам грузить муку: возьмёт мешок на спину и идёт до телеги, легко ступая прекрасными ступнями, — хрустальные мужики столбенели, заглядываясь на её грацию, — выступала, по слову поэта, как пава, словно и не мешок у неё на спине, а накидка из гагачьего пуха; мельник её любил и баловал, — Маленькая была его лебединой песней; он разменял шестой десяток и считался сильно пожилым человеком, она же — молодая, красивая... любила ли его? — жили хорошо, мирно, богато, а потомстряслась между ними беда и свара, — у них был малыш восьми месяцев, молочный младенец, бутуз и забияка, — мельник в младенце души не чаял, так Лида его и приспала нечаянно, младенца то есть; в ночь она кормила его и крестила на сон, укладывая в кровать, стоявшую в каморке за жерновами, — муж ложился к стене, Лида с краю, так младенец, стало быть, спал в серёдке, будучи защищённым от угроз мира телами родителей, но как-то Маленькая, умаявшись за рабочий день, едва покормив дитя и даже не поев сама, рухнула на кровать и заснула былинным сном, не помня себя, да так спала, что и придавила сына богатырскою грудью, — встав утром и взяв дитя, она вышла к мужу, который уже молот зерно и за грохотом мельницы не слышал воя жены, — Лида стояла, протягивая к нему младенца, и пелёнка свисала из-под её руки; мельник раздражённо глядел с мостика возле ссыпного бункера, и Лида подумала стороной: вот мертвец... он стоял, крытый саваном мучной пыли, белый и лишь глаза... она боялась его глаз, ничего хорошего не было в тех глазах, жуткие были у него глаза... он спустился к ней и, поняв всё, протянул руку к сыну, но она шагнула назад, оскалившись и рыча, как полуживая сука, защищающая щенков, — рык разрывал пространство, раскатываясь горохом, и мельник, вторя жене, тоже взрычал, взял топор, лежавший возле стены, и двинулся на жену, вовсе, впрочем, не желая убить, а лишь инстинктивно выказывая недоумение, отчаяние и гнев, и даже не замахнулся, лишь неловко поднял топор, но Лида дёрнулась и выхватила его из цепких рук мужа, и тогда он ударил её по лицу, разбил ей губы и хотел ударить ещё, но она махнула слегка топором, и муж исчез, а она услышала глухой стук упавшего тела, и облачко мучной пыли опушило её лодыжки... она в ужасе глянула: мельник лежал, вывернув руки, и алый плат густой крови медленно двигался по запорошенному мукой полу... недолго думая, она отволокла его в лес и похоронила в одной яме с младенцем; мельника не искали, потому что убийство случилось десятого сентября, а спустя неделю в Хрустальную явились Советы, и началась возня: иных чествовали, иных сажали в острог, кого-то увозили, кого-то

расстреливали, и мельник с младенцем сами собой растаяли в небытии; Лида в отсутствие мельника одна выполняла его работу, молола зерно и всё думала: жизнь перемелется, смерть перемелется, но судьба — камень, её не обойдешь, — как назначено, так и станет, вот судьба и назначила ей Стаха Рымаря, который, явившись в Хрустальную, сразу отправился к мельнице и поселился там с Лидой на правах хозяина, — она молола зерно, ругалась с мужиками, таскала мешки, а он — холостил барашков, подсвинков и котов в сарайке за мельницей, и раз пришли к нему красные армейцы и увели под ружьём, он думал — всё, и она думала — всё, а нет! — гляньте коня, товарищ ветеринар, сказал ему эскадронный командир, засекается что-то конь, во какие засеки у него, просится, кажись, на свалку истории, — нет, сказал Стах, это добрый конь, он ещё поскачет, поди! расчищать надо по уму... коваль-то, чай, есть у вас? а я полечу, тут стрептоцид же надо, — уж будь ласков, сказал командир, это не конь, а отец родной! — дайте срок, отвечал Стах, как новенький будет, — и вылечил коня; стали привечать его красные армейцы, а он не рад, — дальше от начальства — лучше спишь, и уговорил Лиду уехать в Лиду, — навесили на мельницу амбарный замок да были таковы, но не тут-то было, ибо и в Лиде — красные армейцы, и в Лиде — эскадрон, и в Лиде — Советы, и пришёл тут к Стаху какой-то командир, не такой, правда, как в Хрустальной, высокий и статный, а мелкий, лядащий и, глядя косо, будто подозревая Рымаря в тайном небрежении властями, спросил: ты, что ли, кобылий дохтур? и, не дожидаясь ответа, добавил: ну-ка, пошли! — кавалеристы хотели показать коней, и Рымарь взялся за осмотр — осмотрел всех, двух забраковал, предложив отправить их в котёл эскадрона, а к тем, которые ждали его внимания, принял меры и ушёл восвояси, да тут беда: через день восемь коней в прямом смысле слова откинули копыта, и лядащий командир, багровый от гнева и разъярённый сверх всякой меры, ворвался в дом Стаха, — оттолкнув Лиду, схватил ветеринара за грудь, — держа его левой и брызгая слюной в лицо, правой потрясал офицерским наганом и что-то дико орал, но ветеринар вскричал в ответ, и то был вопль ужаса, — он думал: меня сейчас решат! и правильно думал, его хотели решить, — командир вытащил животного лекаря на двор и, потрясая наганом, поволок дальше, но тут вслед вылетела Лида, кинулась на лядащего и в пылу схватки выручила мужа... командир выстрелил с досады и убил кабанчика, мирно лежавшего в пыли, но павшие кони мечтали о мести, и ночью, не обращая внимания на вопли Маленькой, Рымаря забрал красноармейский наряд, — два дня посидел он на гауптвахте в одной из разрушенных башен Лидского замка, а потом поехал в Барановичи, и конвой определил его в *Кривое кола*, в общую камеру, где уже ожидали участи

посадники и аристократы местечек, именуемые по старинке буржуями, — тут прожил он кое-как полтора года по двадцать третье июня сорок первого рокового, когда тюрьма попала под бомбы, и узники её, те, которые уцелели под бомбами, бежали, и Рымарь бежал, но через пару недель явился в Лиде — в довоенной форме СС чёрного цвета с белой повязкой на рукаве, — войдя в дом, Стах снял с плеча трёхлинейку и поставил её в ближний угол, а Лида, увидев мужа, выбросила руки, словно ограждая себя от опасности, и тихо забормотала — нет, нет, нет... но Рымарь не стал вслушиваться, подошёл к ней, сграбастал, впился в рот и повалил на пол! — с грохотом рухнули они, и Лида билась, сопротивляясь, в тщётной попытке освободиться, но Рымарь был сильнее, — одной рукой давил горло, другой бил по лицу и, когда она стихла, стал истоиво целовать мокрые губы, жадно слизывая с них солёную кровь, а потом задрал юбку и приступил к делу, — она была в ярости, но та ярость, неистовая злоба и ненависть медленно сплавлялись в экстаз, и она уже вопила под ним, извиваясь и теряя себя, — тело её несло в бездну отчаяния, она падала, падала, падала, и остановить падение не могло ничто — ни война, ни страх, ни грядущие муки, она па-да-ла и — наконец рухнула! с грохотом, громом — в грязи, в пыли, в слезах! а он... он был верен себе, но, не желая более лечить зверей, напросился к воде, то есть стал возить в телеге бочку с водой, и не просто так — переулками Лиды, а в гетто, в преддверие ада, назначенного насельникам его; первый раз, привезя воду, раздав её и оставив бочку, Рымарь стал искать Шломо Хоскевича, известного всей довоенной Лидчине, — пан Шломо был антиквар, редкий знаток старины, всю жизнь собиравший древности Великого княжества Литовского и хранивший в своей лавке под дюжиной замков меч комтура Куно фон Лихтенштейна, татарский кинжал хана Джелал ад-Дина и даже княжескую печатку Витовта, — пан Шломо был богат, все знали это, и Рымарь знал, вот он, сыскав антиквара, и приступил к нему: дай, дяденька, брильянты, ты где их хаваешь? но пан Шломо не хотел дать, уверяя Стаха в нищете своей и отверженье мира: я беден, мямлил Хоскевич, как крыса из подпола синагоги, и богатство моё — вселенская скорбь в душе да старый лапсердак на худых плечах, — пан Шломо, говорил Рымарь, я уведу вас из гетто, нет жизни вам в гетто, пропасть вам за это гетто! но антиквар стоял на своём, и сдвинуть его Стах не мог, — плюнув, пошёл он дальше, зная за Лидой ещё дантистов, ювелиров, ростовщиков да бывших купчишек, — ювелира ему сразу и сказали, — то был Мендель, золотых дел мастер, носивший ювелирную фамилию, доставшуюся ему от дальних предков, — Перельштейн, что переводится как *жемчуг*, и вот жемчуга свои Мендель не укрыв, а, против того, вынул, показывая Стаху, — так они сговорились, и следующим днём

водовоз сунул старика в пустую бочку, тронул лошадь и, благополучно миновав привратный пост, выехал из гетто; далее нужно было покинуть город и, преодолев пойменный луг перед Лидейкой, попасть в жидкий березняк, за которым начиналась пуца; Стах выпустил Менделя из бочки, проводил к поляне в преддверии леса и сказал: давай! — тот влез в бездну лохмотьев, долго рылся, подпарывая заскорузлыми пальцами подкладки, и наконец вынул жемчуга, слиток золота и два больших бриллианта, — давай! снова сказал Стах, и Менделю почудилось: глаза водовоза сверкнули; взяв золото, Стах сказал: иди! и тот пошёл, — шагнув вперёд, увидел — лес близко, очень близко, нужно лишь преодолеть поляну, а Рымарь в тот миг вынул из кобуры чёрный *люгер*, медленно поднял его на боевую позицию и ... Мендель сделал три шага и услышал какой-то металлический звяк, повергший его в отчаяние, — он понял, всё понял, но оглянуться не смог, — не было сил, времени, и тогда он, собравшись с силами, рванул! но Рымарь, хладнокровно поправив направление боя, совместил мушку с прицелом, прищурился... а старик между тем подбегал к лесу, — Стах чётко видел ствол пистолета и размытую медленным бегом спину, натужно колеблющуюся на фоне деревьев, но не видел лица жертвы, искажённого страхом лица, покрытого крупными каплями жемчуга, такого, как тот, который, лёжа за пазухой Рымаря, нежно грел его грязную душу, — бег душил Менделя, а глаза его, налитые кровью, не видели пущи, — ёлок, елей, дубов, — он чувствовал грядущую боль и уже ощущал удар свинца, мирно созревающего в обойме люгера; ювелир — умер, но жизнь ещё билась в нём, он бежал, бежал, бежал... а Рымарь, зная место невидимого финиша, снова поправил линию боя и с радостью нажал на курок! — грохнул выстрел, Мендель споткнулся и, как несомый ветром платок, медленно пал, больно ударившись о твёрдую землю, густо посыпанную бурой хвоей... птицы умолкли, застигнутые врасплох выстрелом, и березняк за спиной Рымаря тоскливо притих, — Стах глянул и пошёл прочь, но, пройдя немного, помедлил, задумался и через минуту вернулся к старику; перевернув труп ногой, присел и пальцами полез в рот убитого, — пошарив во рту, вынул пальцы, брезгливо вытер их о штаны ювелира и снова достал люгер; Мендель лежал, вперив глаза в небо, рот его был открыт, борода сбилась набок, и весь смысл этой поверженной плоти был — отчаяние, боль и мистический ужас; Стах сунул пистолет в рот старика, отодвинул язык и мушкой люгера сорвал золото коронок... так точно поступил он потом с ростовщиками, купцами, скототорговцем, врачом-гинекологом, раввином, дантистом из предместья и в довершение всего — с каким-то недобитым польским осадником, невесть как затесавшимся в гетто; у Рымаря был схрон в пуще, где скрывалась

добыча, и он любил нет-нет любоваться ею — откроет и смотрит: вот кучка камней, золото, серебро, всё лежит, переливается и чудесно мерцает, подёрнутое туманной дымкой, камни — дышат, посверкивая едва заметной влагой, а к кольцам, серьгам и ритуальной утвари синагог ласково жмутся золотые мосты лидских стариков; один лавочник девяноста двух лет сказал как-то Рымарю: я уж, пан Рымарь, пойти не змагу, возьмите зараз внука, Хирша, во-о-он он на вулице сидит... и отдал Рымарю блестящие цапки, нажитые тремя поколениями семьи; Стах вывез восьмилетнего Хирша в бочке, пустил в березняк, и Хирш, едва повернувшись спиной к Стаху, сиганул в сторону, да так, что Рымарь едва успел выхватить чёрный люгер, — Хирш между тем стремительно мчался к поляне и, петляя, продолжал бежать быстрее, быстрее, быстрее, а Стах, дёргая пистолетом, пытался прицелиться, и посадил наконец на мушку дерзкого оленёнка, — грохнул выстрел, но Хирш прыгнул в сторону и пуля попала в берёзу, расщепив тонкий ствол, ещё! — промах! Хирш, добежав до густого леса, нырнул в него, словно в воду, и третья пуля убийцы попала совсем *в молоко*, не причинив вреда смелому беглецу; и потом Рымарь продолжал ездить в гетто, выискивая владетелей сокровищ, да уж никого и не было более, лишь местный дурачок Витя всё приставал, подходя со щербатой кружкой к бочке с водой: дай хлеба, пан, поди, есть же у тебя? на что Стах отвечал: а як жа, ёсьць у мяне, — нагибался, брал с улицы булыжник и, ухмыляясь, клал в ладонь дурачка, — дурачок блажил, плакал, но всё приставал, не зная смерти своей, стоявшей пред ним в образе Рымаря, который и не хотел даже убивать, — думая сказаться больным, собирался вильнуть, но его *выдернули* согласно списку: состоишь в *Schuma*? ну, тогда будь любезен! как он не хотел идти, прозревая безумие, боялся безумия и знал, что безумия не миновать, но как немцам втолковать? они торопятся, и разговор у них краток: автомат в зубы и вперед! и все полицаи *шуцманшафта*, которые были в Лиде и окрест Лиды, отправились восьмого мая сорок второго к гигантской яме Лидского полигона, чтобы уничтожить жителей гетто; детей младше тринадцати отделили, вроде бы решив оставить, но зачем приводили? подумали устроители смерти, и куда их потом девать, ежели оставить? родителей нет, еды нет, даже воды не будет, ведь бочку Рымаря сунули в гараж, зачем бочка, коли гетто нет? так малышей поставили на край — на край ямы, на край жизни, а Рымарь, стоя против толпы малышей и держа в руках тёплый *шмайссер*, дрожал и плакал, чувствуя, как ледяной пот течёт по спине и едва не журчит, подобно весеннему ручью, — он не хотел стрелять, это же дети! пусть отправил в яму антиквара Шломо, дурачка Витю и десятки других знакомых и незнакомых лидчан, но тут дети... впрочем, хотел он убить

маленького Хирша? хотел! ибо свидетелей не оставляют в живых, но в березняке был один малыш, а тут — толпа, и ведь им сказали раздеться, — голые рахитичные дети стояли на краю ямы, утробно воя и утирая слёзы грязными кулачками, — Рымарь дрожал, руки тряслись у него, но тут подошёл офицер, немец, каркнул что-то и сунул кулаком в лицо, — Рымарь отступил, сел в траву, отирая кровь, и, когда затрещали выстрелы, втянул в плечи голову и в ужасе взрыл лицо руками... нет, не забыть Рымарю тех детей, большеглазых хранителей тьмы, годами приходивших к нему и мучивших своим видом, — коленками, грудками, локоточками, бледными лбами, спутанными кудряшками... нет! то был не я, думал Стах, сидя уже на Володарке, в одиночной камере замка, ведь я не убийца, не зверь, я лечил зверей, никого не трогал, я — доктор, и не моя вина вообще, что эскадронные кони красных армейцев в тридцать девятом неясно отчего пали, но моя обида не кончилась, не может кончиться, обида жжёт и бередит душу, ибо меня мучили зазря, голодом держали зазря, били зазря, — я люблю холостить живое, запрещая ему жизнь, обрывая род его и племя его, ежели это нужно — из высших соображений, а высшие соображения есть закон! так он думал, сходя с ума, и ему повезло уцелеть, ведь в сорок четвёртом вышедшие из лесов партизаны не задавали вопросов, не вели следствия и не тянули, что называется, кота за хвост, а ставили предателя к стенке и безжалостно убивали, но хитрый Рымарь сумел тогда вильнуть и удачно слился, оказавшись впоследствии в Гамбурге, где и угодил в сентябре сорок пятого в лапы НКВД; репатриация была для него тяжкой мукой, ведь каждый день думал он: убьют, убьют, выведут на глухом полустанке, сопроводят в тупик и порасходят без долгих слов и ненужных сантиментов, но судьба хранила его для суда, который случился в Минске в сорок шестом, и он в числе восемнадцати подсудимых сполна получил своё, — сполна, впрочем, получили четырнадцать — докрутившихся до верёвки, а Рымарь лишь отчасти — всего-то-навсего двадцать лет, — все знали: он возил воду в гетто, знали: он служил в *Schuma*, но более и не знали; лидский дурачок Витя, выживший при расстреле, ничего не сказал и не мог сказать, ибо помнил: Стах — давал — хлеба, а ведь Стах давал камень, но дурачок не понимал, дурачок же, что возьмёшь с дурачка? он сказал: Стах давал хлеба, хороший человек, делился же хлебом! да не тут-то было: пришёл подросток лет двенадцати — черноглазый, кудрявый и, указуя пальцем в сникшего Рымаря, свидетельствовал, — вот и набежало кату на двадцать лет каторжных работ, поделом ему! довольно двадцатилетия, чтобы навеки погасить человека, который и не горел толком, а тлел только, который и не человек, а лишь подобие человека; Стах вышел на этап, а четырнадцать *докрутившихся*

вздёрнули на городском ипподроме, и это событие до конца дней помнил каждый минчанин, пришедший тридцатого января к месту казни; страшный мороз накрывал город, ипподром был забит, — люди стояли вплотную и молча ждали возмездия; пар дыхания висел над толпой, и тягостная тишина гремела, словно набат, — ни крика, ни вздоха... лица были угрюмы, суровы, гневны... приговорённые ждали смерти в грузовиках с опущенными бортами... прокурор прочёл приговор, офицер возле виселиц рубанул нагайкой, машины отъехали, толпа тихо охнула и сдержанно взвыла... прошло двадцать лет, и годы эти не стали лучшими в жизни Стаха; Лида в сорок шестом покинула Лиду, уехав в Норильск, — где-то там отбывал каторгу Рымарь, — поступив в плавильный цех на выработку фанштейна, Маленькая работала наравне с мужиками и считалась среди них *своим парнем*; никто не посягал на её женскую суть, — работяги не могли и представить, что под чёрной рабочей робой, делающей фигуру Лиды схожей с колодой, скрывается молодое тело, она была для них существом бесполом, и относились к ней даже с большой опаской: тронешь в интимном смысле пальцем — зашибёт без вступлений, и потому была она полноправным членом мужского коллектива — курила, материлась виртуознее мужиков и пила с ними наравне на праздничных посиделках в общаге; семнадцать лет в горячем цеху подорвали её здоровье; в шестьдесят третьем она вернулась в Лиду, заглянув проездом в Хрустальную, но ничто не отзывалось там прежнюю жизнью, и даже места захоронения мужа с ребёнком не удалось ей сыскать... такая судьба! в Лиде вселилась она в свою окраинную избушку, в ветхий полуразвалившийся домик, чудом выживший, и пошла работать на завод электрических изделий, бывший «Металлширпотреб», ни с кем не зналась, никого не любила, ничего не хотела, — её и здесь боялись, уж больно нездешний вид имела она, будто не коренная, а пришлая, да пришлая не с Крайнего Севера, не с норильской земли, а с далёких планет, которые не отмечены даже и на звёздных картах; один только заметил Маленькую и глаз на неё положил, чувствуя за ней тайну и глубину пути, то был начальник строительства Микулич, — завод в те годы подстраивал к имеющимся уже цехам новые, и вот тот начальник, майор из Слонима, прошедший войну и потерявший на войне жену, приметил Лиду, которую, несмотря на её сложение, никто не примечал, — приметил да, присмотревшись, понял: не старая ещё баба, в самом соку, полная тоски и желаний, и стала она для него искушением, смущением, мороком; ляжет он ввечеру спать, она является и блазнит, — не в спецовке, рукавицах и ватных штанах, — приходит в своём естественном виде и по мере сил дамских тешит майора, как может, мучая его невозможностью счастья, так грёзы те были ему не в сладость, не в



радость, а лишь на пытку, вот он и стал клинья подбивать, даже в ресторан сводил, а она в ресторан пришла в платье! простенькое, но красивое — чёрное в белый горох, — он же её только в спецовке видел, а тут платье, да по фигуре, а фигура такая, что... манкая баба, полная женской мощи, томной неги, одиночества и пахнувшая, как природная самка; она хотела и не хотела, боялась и сомневалась, но он добился же своего и три года потом любил Лиду, — как любят уже последней любовью, не надеясь на продолжение жизни... но... погибла любовь! погибла, когда на пороге дома возник Рымарь, — двадцать лет не было, и она думала — сгинул, захлебнувшись полярной мерзлотой, ан нет! выжил, бесы — живучая порода, — стал на виду, глядя на неё, принялся, как пёс, и сверкнул глазами... сердце у неё пало, и она молча развела руки, как бы становясь ко кресту, — он владел ею, и никак нельзя было сбросить его чёрные чары; Микулич получил отставку и, ничего не понимая, ввинтился в штопор тяжкого запоя, Рымарь же открыто и свободно ходил по Лиде, нагло глядя в глаза прохожим, — никто не узнавал его или не знал, — уж и поколение сменилось, и пришлецы иных краёв прижились, — и лишь запах барака говорил за него, тяжкий дух прогорклого пота, протухшей параша и керосинной копоти; он пожил, взгляделся в мир, думая снова холостить барашков, но идея не показалась ему, да и Лида была не та — барашки водились на окраинах, а центр застроился большими домами; он пошёл в лес, надеясь на сохранность своего *депозита*, с трудом нашёл по засекам схрон, сделанный в сорок третьем, и извлёк из него золото с бриллиантами, — всё было цело, лишь серебро сжухло и золото потускнело; он взял коронки, а остальное зарыл, — достав молоток в домашнем сарае, сбил золото в бесформенный ком и следующим утром уехал в Минск, где, поискав хорошенько да поспрошав по углам, нашёл тайного ювелира, который блажил, отпираясь и уверяя Стаха, что он — дворник, а вовсе не ювелир, но когда тот достал комок злата, — *потёк* и за часть металла согласился на всё, — через пару недель Стах получил у него кольцо и, вернувшись в Лиду, вручил презент Лиде — в знак воссоединения семьи; Маленькая с видимым удовольствием взяла, — у неё никогда не было украшений, — надела на палец и гордо носила, но палец спустя время опух, покраснел, а потом стал чернеть и гноиться; кое-как кольцо сняли, распилив поперёк и повредив палец, пытались лечить, прикладывая к ожогу толчёный чабрец и кашицу шалфея, сходили наконец к Свидарихе, старой ведьме, пользовавшейся больных, а Свидариха велела принести воду в банке, три яйца и распиленное кольцо; Стах сопровождал Лиду; придя в сарайку блаженной, сел позади жены, чтобы видеть обеих — жену и бабу; та взяла яйца, разбила в блюдце, разболтала и зловеще сказала: кровь! глянь сама, коли не веришь,

— Лида глянула: поверх яичной жижи плавали багровые сгустки крови, — нет, сказала Лида, не хочу! — не бойсь, сказала ведьма, давай кольцо! — и бросила кольцо в воду... золото почернело и пошло хлопьями, ржавчина заволокла банку, ведьма заполошно вскрикнула и сказала: бесы у тебя за спиной! — ну а потом сходили к врачу, и врач сказал: руку хотите потерять? долой палец! и забрал палец без лишней болтовни, — Лида выла от боли, жалея палец, а потом стала утишать боль водкой, — выпьет стакан — боль уходит, — так несло её на обочину, несло и, наконец, вынесло: с завода погнажи, — хотели по статье, да Микулич вступился, и она с *чистой* трудовой устроилась уборщицей в администрацию *обувайки*; это, впрочем, не прекратило её тесного общения с горькой; Стах увещевал Лиду, пытаясь пресечь, и даже спросил как-то: может, детей? успеем же, ты ведь не старая ещё... детей? спросила она в ужасе, и слёзы выступили у неё на глазах; прошло десять лет, но детей не случилось, — она запивалась, тускнела и теряла листья, как осина осенью, но была крепка; фабрика обуви простилась с ней, и последним пристанищем в империи труда стал для неё овощной на Советской, где она, как в юности, тягала мешки, а местные алкаши являлись любоваться ею, — она брала мешок и, покачивая могучим задом, непринуждённо несла его в подсобку, мужики смотрели и отпускали непристойные шуточки ей вслед, любуясь при этом её мощной фигурой и крепкими ногами; она с ними пила, перепивая всех, — мужики падали, а она снова шла работать, и ещё десять лет прошло: она сдала, но не сдавалась — отдраит дом, вылижет огород, сварит мужу кастрюлю борща, наденет туфли на каблуках, чёрное платье в белый горох и уходит с авоськой; возвращается в сумерках, уже тёплая, а в авоське — звяк-звяк! — начинали они вместе, но Рымарь мог принять стакан-полтора, а она удержу не знала и пила горькую как компот, выпивая пузырь минут за двадцать, Рымарь не мог это осознать, она пила — стопку за стопкой, мрачнела и вскоре, налившись желчью, начинала вопить, — тут Стах отступал в сенцы, надеясь покинуть дом, да надежды те были, как правило, напрасны, — Лида ловила его и избивала, но потом — силы покидали её, и Рымарь брал верх: ловил её и, сграбастав за волосы, водворял в маленький холодный чуланчик, где стояла железная кровать и поганое ведро для естественных нужд, — дня три она в этом сарае выла, пытаясь сокрушить стены, а на четвёртый постепенно стихала, сникала и ещё сутки спала на кроватной сетке, — Стах выпускал её, кормил, и она уходила работать; в конце восьмидесятых я видел её иногда: придёшь в овощной, а она как раз мешок с капустными кочанами прёт, вот, думаю, полный мешок человеческих голов, — не знаю, почему думал, что-то такое было в ней от средневекового палача; в те годы шарахнул её первый инсульт,

Стах думал: всё! не встанет, но она встала, одолев паралич, и ещё какое-то время крутилась; врач сказал: не пить! будешь пить — умрёшь, а после второго инсульта, если что, уже не встают, станешь под себя ходить, кто же тебя, тушу такую, поворачивать будет, не твой ли нетопырь? тут она совсем сникла — пить же нельзя — и стала чахнуть, — то давление, то сердце, то печень, измученная водкой, горьким генератором грёз и утешений, а то и банальная простуда, — всё больше и больше лежала она, болея и вспоминая свою никчёмную жизнь, годы злобы, бесплодия, ожидания, страха, а Рымарь сидел перед ней, и кривая ухмылка корёжила его лицо, — Лида болела, выздоравливала, снова болела, её тошнило, качало, штормило, и вдруг... в самом конце девяносто восьмого перед католическим Рождеством речь её стала тёмной, бессвязной, и всё поминала она какие-то брильянты; Стах уложил её, и она беспокойно шептала, пеняя на жизнь, судьбу и враждебное человеку время, жажда удручала её, и она, глядя мимо Рымаря, спросила пить, — губы не слушались её, но она старалась; Стах принёс воды, она покачала головой, — Стах понял и заменил воду водкой, — держа стакан, сел рядом, однако не давал стакан, внимательно глядя ей в лицо, в котором мука желания вытесняла муку ухода, и она подняла руку — взять стакан, а рука дрожала, и Лида дрожала, — не в силах унять дрожь, смотрела в стакан, понимая: смерть в этом стакане, но мечтая о ней, о смерти, и уж не желая жизни, доставшей её по самое горло, жизни душившей, давившей, мерцавшей, словно огонь в тумане, но так и не разгоревшейся; два глотка водки... а остальное пролилось на грудь; Стах был доволен, что убил её... сам он тоже не удержался среди живых и ушёл вслед за ней год спустя, — неделю перед кончиной икал без удержу, ничто не могло унять икоту, и так подход в судорогах, не умея снести предсмертную муку; её схоронили на погосте в Зосино, а его — на старом католическом, в обращенном к улице Розы Люксембург сегменте; на могиле его не было крестов, плит, надгробий, была табличка, но прошло года два, и могила рухнула вместе с табличкой в ад, — прямо туда, откуда пришёл он; в обрушенной земле ничего нет, кроме дыры, ведущей в бездну; редкие прохожие, забредающие иной раз на улицу марксистки Розы, костерят почём зря жуткий смрад, идущий от могилы Стаха; у меня там есть своя покойница, тётя София, одна из сестёр деда, но она лежит, слава Богу, далеко от Стаха, справа от каплицы, ежели стоять лицом к ней, и я никогда, никогда не хожу в дальний угол кладбища, боясь осквернить свой язык проклятиями в этом святом и древнем месте... пусть спят без снов покойники Лиды, поляки, белорусы, евреи, а провалившуюся могилу Рымаря надо бы известью засыпать, — воздух станет чище, и годы ночного мрака рано или поздно сменит рассвет...